

**ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ**

**ОСТРОВА В ОКЕАНЕ**

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Эрнест Хемингуэй не раз обманывал смерть. И вот он обманул ее снова: пролетело без малого десятилетие с того июльского утра 1961 года, когда он покончил с собой, а читатель знакомится с «новым» его романом. Хемингуэй работал над ним много лет, называл его своей «Большой книгой», но так и не успел закончить. И все же пусть труд остался незавершенным, пусть в нем встречаются недоработки, а местами длинноты, которые рука писателя, несомненно, исправила и удалила бы при дальнейшей отделке рукописи, мы находим в «Островах в океане» многие страницы блистательной прозы и радуемся новому свиданию с их замечательным автором.

Современникам не всегда дано полностью оценить большого писателя. На Западе творчество Хемингуэя постоянно вызывало противоречивые отзывы, ожесточенные споры, несправедливые нападки. У нас некоторые критики, поклонники ранних произведений Хемингуэя, готовы были отрицать то, что он писал впоследствии. Время все поставит, а может быть, уже поставило на свое место. Никто теперь, кажется, не оспаривает, что в произведениях Хемингуэя получила отражение наша бурная эпоха, что без него нельзя представить себе литературу века.

Многие авторы пытались подражать его диалогу, кажущейся простоте повествования, сдержанности в описании страстей человеческих. Но все это относится к стилю Хемингуэя. То, что придает ему подлинное величие, что роднит его с русской литературной классикой, – это всепоглощающее стремление писать правду; какой бы суровой она ни была. Он идет на войну – на три войны, – чтобы написать о ней правду. Он встречается фашизм лицом к лицу, в смертельной схватке – и пишет о нем правду.

Эрнесту Хемингуэю принадлежат слова: «Задача писателя неизменна. Сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта».<sup>[1](#)</sup>

Упорно, порой мучительно писатель ищет ответа на вопрос, в чем правда.

Что делать человеку в том обществе, которое в самой основе своей враждебно правде и человеческой Личности? Какими духовными ценностями надо дорожить в условиях, когда кругом эти ценности растаптываются? Вместе со своими героями Хемингуэй проходит нелегкий путь в поисках ответа на эти вопросы.

Истины, к которым он пришел, нам по душе. Человек должен бороться против зла, даже если силы зла сильнее него. Бороться до конца, не склоняя головы, не сдаваясь, «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения, – говорит рыбак Сантьяго в „Старике и море“. – Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».

Эти простые истины положены и в основу романа «Острова в океане». Есть в нем и другой близкий Хемингуэю лейтмотив: труд и долг. На протяжении всей книги героем романа владеют два желания: хорошо работать, честно выполнить свой долг. Испытав тяжкие удары судьбы, потеряв двух младших сыновей, а потом и третьего, своего первенца, герой романа говорит себе: «Давай разберемся. Сына ты потерял. Любовь потерял. От славы уже давным-давно отказался. Остается долг, и его нужно исполнять». Имеется в виду великий солдатский долг в войне против фашистского варварства, но Хемингуэй, как и его героям, претят громкие слова, и он пишет просто: долг.

\*\*\*

Первая часть романа носит заглавие «Бимини». Бимини – два маленьких островка из группы Багамских в Атлантическом океане неподалеку от Кубы. Они славятся своей экзотической красотой. Из биографии Хемингуэя известно, что он побывал на Бимини, ловил в его водах крупную рыбу.

С островами Бимини связана древняя индейская легенда, от которой они и получили свое название. На острове Бимини – гласит легенда – бьет ключ вечной молодости: стоит умыться его водой, и сгорбленный старец превращается в стройного юношу. Испанские мореплаватели минувших веков, очарованные чудесами Нового Света, верили этой дивной легенде и настойчиво искали мифический остров с его волшебным источником. В их числе был Понсе де Леон, первооткрыватель Флориды, поискам которого Генрих Гейне посвятил трогательную и горькую балладу о старом испанце и сказочном острове Бимини. Строфы этой баллады, несомненно, звучали в памяти Эрнеста Хемингуэя, когда он писал свою «Большую книгу». Помните?

**На пустом побережье Кубы, Над зеркально гладким морем  
Человек стоит и смотрит В воду на свое лицо. Он старик, но по-испански, как  
свеча, и прям и строен; В непонятном одеянье: То ли воин, то ль моряк,  
— Он в рыбацких шароварах...**

## 2

О ком это? Не о самом ли Хемингуэе в те годы, когда он работал над «Большой книгой»? Или о ее главном герое?

...Жил у самого синего моря художник Томас Хадсон, многими чертами похожий на Эрнеста Хемингуэя. Как и Хемингуэй, Томас Хадсон – то ли воин, то ль моряк. Он много путешествовал, провел молодость в Париже,

где принадлежал к тому же кругу людей литературы и искусства, с которыми был связан в свои парижские дни Хемингуэй. Как и Хемингуэй, Хадсон прошел через войну и по ночам, когда дом сотрясается от ударов атлантического прибоя, вспоминает те дни, когда под ним сотрясалась земля от залпов орудий его батареи. Как и Хемингуэй, он трудится самозабвенно, упорно добиваясь высшего совершенства, порой переделывая свои творения вновь и вновь. И как Хемингуэй, Хадсон прожил бурную жизнь, любил многих женщин, дружил со многими хорошими людьми.

Остается предположить, что, наделив своего героя столькими свойственными ему самому чертами, писатель передал ему и некоторые свои раздумья. Не потому ли роман остался незавершенным, что его главный герой так похож на автора? Возможно, естественная сдержанность мешала писателю всецело раскрыть себя перед публикой. Но сейчас, когда Эрнест Хемингуэй ушел из жизни, его посмертный роман именно потому приобретает для нас особый смысл, что на его страницах мы видим автопортрет писателя и знакомимся с миром его сокровенных помыслов...

Сразу за порогом дома Томаса Хадсона – море, которое он так любит, что «нигде в другом месте не хотел бы жить». Море с его прозрачными зелеными и синими волнами, лагунами и рифами, с его радостями и опасностями, с водным спортом и охотой на большую рыбу. Море, которое Хадсон пишет на полотне, как Хемингуэй писал его на бумаге.

Рядом – друзья, люди самого различного общественного положения и рода занятий. Друзья, которым можно верить, как самому себе, на которых можно положиться при любых обстоятельствах, которые выручат в минуту трудную.

С приездом на летние каникулы детей (как и у Хемингуэя, у Хадсона три сына) в доме воцаряется полное и беспредельное счастье. В своих сыновьях художник вновь обретает молодость, словно на него плеснули водой из сказочного источника Бимини.

Но в книгах Хемингуэя, как и в жизни человеческой, печаль и горе всегда присутствуют где-то рядом со счастьем: жизнь сурова, а человек так уязвим под ее ударами. Телеграмма приносит злую весть: два младших сына погибли вместе с матерью в автомобильной катастрофе. Томас Хадсон

проходит через все круги ада, а кругов в этом аду много, и они не имеют таких четких границ, как у великого флорентийца.

А потом приходит война. Она похищает последнего, третьего сына.

\*\*\*

Вторая часть «Островов в океане», «Куба», в которой действие разворачивается на фоне последней мировой войны, написана в ином эмоциональном и ритмическом ключе, чем первая. Если первая, за исключением финала, вся как бы пронизана лучами горячего солнца, напоена радостью безмятежного бытия и вдохновенного творчества на чудном острове Бимини, то вторая часть романа дышит атмосферой войны и ощущением надвигающейся трагедии.

На Западе некоторые критики объявили войну одной из главных, сквозных тем творчества Эрнеста Хемингуэя. Конечно, он с большой силой отобразил и первую мировую войну («Прощай, оружие!»), и войну в Испании («По ком звонит колокол»), и Западный фронт во второй мировой войне («За рекой, в тени деревьев»). Но если говорить об одной из главных, сквозных тем творчества Хемингуэя, я выразил бы ее иначе: **человек на войне**, а точнее, **человек против войны**.

Эрнест Хемингуэй ненавидит «puta guerra» – «шлюху-войну», по выражению персонажей настоящей книги. Есть, однако, войны, от участия в которых честный человек не может уклониться (вспомним Роберта Джордана из «Колокола»). Как и его старший сын Джон, Томас Хадсон становится солдатом в войне против фашизма. Но, знакомясь с его рассуждениями, читателю следует помнить, что у мыслящего американца отношение к второй мировой войне, а главное, к той роли, которую играло в ней его государство и правительство, в силу понятных причин складывалось иначе, чем у советского человека.

Впрочем, даже в далеком от полей сражений уголке земного шара чувствовалось биение пульса войны. Небольшая деталь позволяет нам с приблизительной точностью определить время действия этой части романа: Хадсон читает в одной из газет о боях на Апеннинском полуострове. Высадка союзников в Калабрии, а затем в бухте Салерно состоялась в сентябре 1943 года; действие романа происходит зимой; значит, это предпоследняя или последняя военная зима. Иными словами, события

романа происходят на заключительном этапе войны, когда Советская Армия наносила удар за ударом по фашистским войскам и над гитлеровской Германией уже навис призрак неминуемого поражения. Но она еще сопротивлялась, и сопротивлялась отчаянно.

На просторах Атлантики гитлеровское командование стремилось нанести возможно больший урон судоходству союзников, парализовать линии их снабжения. Немецкие подводные лодки, базировавшиеся в портах оккупированной Франции и франкистской Испании, доходили до побережья Америки, пуская ко дну встречные суда союзных держав. Военно-морские и воздушные силы Соединенных Штатов и Англии вели систематическую охоту за подводными лодками противника. В непосредственной близости от побережья в действиях против подводных лодок участвовали и небольшие катера береговой охраны.

Как известно, сам Хемингуэй в 1942-1943 гг. с благословения американского военно-морского командования охотился близ Кубы за подводными лодками на своем катере «Пилар»; на борту его имелось необходимое оборудование и военное снаряжение, включая пулеметы, противотанковые ружья, глубинные бомбы. Экипаж «Пилара» состоял из девяти человек, в числе которых были испытанные друзья командира – испанские республиканцы, эмигрировавшие на Кубу после победы Франко. Хемингуэю так и не удалось потопить немецкую подводную лодку, но его донесения помогали обнаруживать противника. Действия Томаса Хадсона и его экипажа в романе в какой-то мере основаны на личном опыте Эрнеста Хемингуэя.

В тот период, о котором ведется повествование, Куба официально принадлежала к лагерю Объединенных Наций, сражавшихся против фашистских держав. Однако порядки на Кубе были тогда весьма своеобразными. Несколькими беглыми штрихами в разговоре Хадсона со случайным знакомцем в баре писатель рисует нравы старой Кубы с ее поголовной продажностью властей, коррумпированных сверху донизу, нравы злосчастной страны, где громкие фразы буржуазных политиканов в ходе избирательных кампаний не могли скрыть их грязных махинаций в погоне за личным обогащением, где даже прокладка водопровода, столь необходимого населению, становится источником наживы.

Не мудрено, что в этих условиях, которым позднее положила конец



кубинская революция, на острове кишела фашистская агентура. Она поддерживала постоянную радиосвязь с немецкими подводными лодками. Отсюда необходимость в конспирации для тех, кто за ними охотился.

Команда Хадсона маскируется под научную экспедицию. Почти все члены экипажа – испанские республиканцы, баски по национальности. У них свои счеты с фашистами. Хадсона связывает с ними крепкая дружба. Но на берегу он очень одинок. Совсем недавно он получил известие о гибели старшего сына, военного летчика. Тщетно Хадсон пытается забыться, запрещает себе думать о своем горе. Пусть гибель младших сыновей им не забыта, свежая рана ноет сильнее (впрочем, то, что о младших сыновьях Хадсона вовсе не упоминается во второй части романа, следует, по-видимому, отнести к числу авторских недоработок).

Стержень третьей части романа – эпопея преследования и уничтожения отряда нацистских моряков, совершивших тяжкое преступление против человечества, типичное для практики вооруженных сил германского фашизма. Невозможно отделаться от впечатления, что участь этой группы нацистов символизирует у Хемингуэя судьбу гитлеровской Германии.

Группа моряков с немецкой подводной лодки, то ли потерпевшей аварию, то ли подбитой глубинными бомбами с самолетов, высадилась на маленьком островке, чтобы завладеть необходимыми для бегства рыбацкими шхунами, запасами продовольствия, пресной воды. Судя по всему, их расчет заключался в том, чтобы добраться до любого порта, куда заходят суда франкистской Испании, и через нее вернуться к своим. Решив замести следы, они убивают все население рыбацкой деревушки, включая детей и женщин. Ведь останься эти люди в живых, они могут рассказать о численности немецкого отряда, о его вооружении. «За это, очевидно, и стоило их убить – с немецкой точки зрения. Что, мол, с ними считаться – негры!»

Но, учинив зверское преступление, нацистские моряки поставили себя вне закона, сожгли за собой все мосты. Прощения им быть не может, путь в плен для них отрезан. Теперь, если настигнет погоня, им остается только драться до конца, подороже продать жизнь.

Так было и с фашистским режимом в Германии. Запятнав себя чудовищными злодеяниями, фашистская верхушка сама подписала себе

приговор, сделала расплату неминуемой. Главарям нацизма оставалось только отсиживаться до последней возможности в своих бункерах, посылая на смерть все новые и новые когорты немцев, а там – принять яд или дожидаться петли.

Пытаясь уйти от возмездия, моряки с потопленной нацистской подводной лодки проявляют и хитрость, и сноровку, и ту храбрость, которая зовется храбростью отчаяния. Томас Хадсон и его команда следуют за ними по пятам, как неумолимый рок в древнегреческой драме. И вот преступники настигнуты. Им приходится принять бой. Описание схватки, в самом начале которой Хадсон получает роковое ранение, сделано рукой большого мастера, к тому же видевшего подобные сцены собственными глазами. Как и на многих страницах в других произведениях Хемингуэя, здесь отразилось убеждение писателя, что человек проявляет себя полностью и до конца в минуту смертельной опасности.

Хадсон и его друзья дерутся так, как умеют драться герои Хемингуэя. Не их вина, если в пылу боя им не удастся выполнить свою главную задачу – взять пленного, который мог бы дать необходимые военно-морскому командованию союзников показания о действиях германского подводного флота. И все же эта неудача окрашивает горечью последние часы Томаса Хадсона.

Подобно Роберту Джордану из романа «По ком звонит колокол», герой «Островов в океане» Эрнеста Хемингуэя находит смерть в бою с фашизмом, величайшим злом нашего века. Хадсон выполняет свой долг до конца. Быть может, передай он сразу после ранения штурвал в другие руки, займись он своей раной, он остался бы жить. Но, истекая кровью, Хадсон не бросает штурвала. Теряя силы, он не перестает командовать боем.

Последние мысли Томаса Хадсона – о своей работе. Он смотрит в синее небо, которое всегда так любил, на лагуну, которую уже никогда не напишет. Вот так, наверно, смотрел Эрнест Хемингуэй в последний раз 2 июля 1961 года из окна своего дома в Кетчуме на лес, горы и на веселую Солнечную долину.

Умиравшему Хадсону приходит на ум чисто хемингуэевская мысль: «Жизнь человека немногого стоит в сравнении с его делом». Томас Хадсон выполнил свое дело: он писал хорошие картины, он храбро бился с врагом.

С чистой совестью уходит он туда, где течет река из древних сказаний, о которой говорится в музыкальных строфах Генриха Гейне:

**Та река зовется Летой. Выпей, друг, отрадной влаги — И забудешь все мученья, Все, что выстрадал, забудешь. Ключ забвенья, край забвенья! Кто вошел туда – не выйдет, Ибо та страна и есть Настоящий Бимини.**

В тот край ушел и большой писатель, подарив нам на прощание роман о Томасе Хадсоне, столь похожем на Эрнеста Хемингуэя.

**Борис Изаков**

Готовя эту книгу к печати, я работала над рукописью Эрнеста вместе с Чарльзом Скрибнером-младшим. Помимо чисто технической правки, касавшейся орфографии и пунктуации, мы сделали несколько сокращений, которые, я уверена, Эрнест сделал бы и сам. Вся книга написана Эрнестом. Мы не добавили ни одного слова.

**Мэри Хемингуэй**

# Часть первая

## БИМИНИ

### I

Дом был построен на самом высоком месте узкой косы между гаванью и открытым морем. Построен он был прочно, как корабль, и выдержал три урагана. Его защищали от солнца высокие кокосовые пальмы, пригнутые пассатами, а с океанской стороны крутой спуск вел прямо от двери к белому песчаному пляжу, который омывался Гольфстримом. В безветренную погоду вода здесь была совсем синяя, если смотреть на нее с берега. Но вблизи она зелено светилась над мучнистым белым песком, и тень крупной рыбы мелькала в ней задолго до того, как рыба подплывала близко.

Днем это было отличное и вполне безопасное место для купания, а вот ночью купаться здесь нельзя было. По ночам близко к берегу подплывали акулы, охотившиеся у края Гольфстрима, и в тихую погоду с верхней веранды было слышно, как плещет в воде испуганная рыба, а если спуститься на пляж, можно было увидеть фосфоресцирующий след, который акулы оставляли за собой. По ночам они ничего не боялись, а все остальное боялось их. Но днем они старались держаться подальше от светлого прибрежного песка, а если какая-нибудь и сунулась бы к берегу, то

можно было по тени издалека заметить ее приближение.

Человека, который жил в доме, звали Томас Хадсон. Он был хороший художник и большую часть года проводил за работой дома и на острове. Когда долго живешь в этих широтах, привыкаешь ценить здесь смену времен года не меньше, чем в других местах, и Томасу Хадсону, любившему этот остров, жаль было пропустить хоть одну весну или лето, осень или зиму.

Лето порой выдавалось слишком знойное – если пассаты слабели в июне и в июле или вовсе не дули в августе. В сентябре же и в октябре, даже в начале ноября всегда можно было ожидать урагана, а какая-нибудь шальная тропическая буря могла налететь в любое время начиная с июня. Но даже в самый сезон ураганов выпадали, при затишье, чудесные дни.

Томас Хадсон за много лет хорошо изучил тропическую погоду и, глядя на небо, мог предсказать надвигающуюся бурю задолго до того, как ее покажет барометр. Он умел составлять карту бурь и знал, какие нужно принимать меры предосторожности. Он знал также, что значит пережить ураган вместе с другими обитателями острова и как подобное испытание роднит тех, для кого оно было общим. Знал он и то, что бывают такие страшные ураганы, в которых никто и ничто уцелеть не может. Но он давно решил, что, уж если случится такое, лучше быть здесь и погибнуть вместе с домом.

В этом доме он чувствовал себя почти как на корабле. Построенный так, чтобы выдержать любую бурю, дом словно врос в остров, стал его частью; из всех окон видно было море, и комнаты продувало насквозь, так что даже в самые жаркие ночи спать было прохладно. Он был покрашен в белый цвет, чтобы лучше сохранять прохладу в летние дни, и его издалека можно было разглядеть с моря. Выше его поднимались только верхушки выраженных рядами казуариновых деревьев – первое, что вы замечали, приближаясь к острову. Вскоре после того, как на горизонте темным пятном замаячат посадки казуарины, появлялся перед глазами белый куб дома. А потом, по мере приближения к берегу, разворачивалась вся панорама острова – с кокосовыми пальмами, с домиками, обшитыми тесом, с белой полосой пляжа и темной зеленью острова Южного на горизонте. У Томаса Хадсона, когда бы он ни завидел дом издали, становилось хорошо на душе. В мыслях дом был для него живым существом, как корабль для

морьяка. Зимой, когда задувал норд-вест и становилось холодно не на шутку, в доме было уютно и тепло, потому что в нем, единственном из всех домов на острове, имелся камин. Камин был большой, открытый, и Томас Хадсон топил его плавником.

Целая куча плавника была сложена за домом, у южной стены. Добела высушенные солнцем, обточенные ветром и песком, некоторые куски дерева так нравились Томасу Хадсону, что ему жаль было жечь их. Плавника много оставалось на берегу после каждой сильной бури, и в конце концов Томас Хадсон сжигал с удовольствием даже особенно нравившиеся ему куски. Он знал, что море наготовит еще, и в холодные вечера он сидел в большом кресле у огня и читал при свете лампы, стоявшей на дощатом столе, временами поднимая голову от книги, чтобы прислушаться к реву ветра и посмотреть, как горит в камине обесцвеченное морем дерево.

Иногда он гасил лампу и, растянувшись на ковре, вглядывался в цветные ободки пламени, возникавшие там, где сгорали остатки песка и морской соли. Когда он лежал, глаза его приходились вровень с подом камина и ему видно было, как пламя отрывается от поверхности дерева, и от этого становилось и грустно и хорошо. Всегда с ним бывало так, когда он смотрел в огонь. А если горел плавник, это вызывало у него особое чувство, которое трудно было определить. Вероятно, думал он, нехорошо жечь то, что тебе так нравилось; но вины он не ощущал.

Лежа на полу, он как будто укрывался от ветра, хотя на самом деле ветер хлестал по нижним углам дома и по самой короткой на острове травке и забирался в сухие водоросли на берегу и даже в самый песок. Пол под ним сотрясался от глухих ударов прибоя, как когда-то в юности сотрясалась земля от залпов тяжелых орудий, когда он лежал невдалеке от полевой батареи.

Великое дело был этот камин зимой, и все незимние месяцы он поглядывал на него с нежностью и думал о том, как будет, когда опять настанет зима. Пожалуй, зима была лучшей порой на острове, и все остальное время он заранее радовался ее возвращению.

## II

Зима уже прошла и весна была на исходе, когда сыновья Томаса Хадсона в этом году приехали на остров. По уговору, они все трое должны были съехаться в Нью-Йорке, а оттуда поездом, а потом самолетом добираться до места. С матерью двоих младших, как всегда, не обошлось без осложнений. Она задумала путешествие по Европе, разумеется не предупредив отца мальчиков, и вдруг объявила, что на лето отпустить их не может. Пусть он их берет к себе на рождественские каникулы, только после рождества, разумеется. Рождество они должны провести с ней.

Томас Хадсон уже привык к этим фокусам, и дело, как всегда, кончилось компромиссом. Решено было, что мальчики погостят у отца на острове пять недель, а потом вернутся в Нью-Йорк и оттуда поплывут пароходом французской компании по школьному тарифу. С матерью они встретятся в Париже, где она тем временем успеет сделать необходимые покупки к лету. В пути они будут находиться под присмотром старшего брата, Тома-младшего. А из Парижа Том-младший уедет к своей матери, которая снималась на юге Франции.

Мать Тома-младшего не требовала его к себе и охотно оставила бы у отца на все лето. Но она, конечно, обрадуется ему, и в общем это был достойный компромисс – при той железной решимости, которой обладала мать двух других братьев. Эту прелестную, очаровательную женщину ничто в мире не заставило бы отступить от раз принятого плана. Планы свои она строила в глубокой тайне, как опытный полководец, и так же неуклонно проводила их в жизнь. Компромисс еще допускался. Но коренное изменение плана – никогда, возник ли этот план среди бессонной ночи, или скучным утром, или вечером, при содействии джина.

План был планом, и уж тем более решение было решением, и Томас Хадсон, отлично зная это и пройдя хорошую школу бракоразводного процесса, радовался, что компромисса удалось достигнуть и дети приедут хотя бы на пять недель. Пять недель – не так уж мало, если можно провести их с теми, кого любишь и с кем хотел бы всегда быть вместе. А зачем

вообще я расстался с матерью Тома? Лучше не задумывайся об этом, сказал он себе. Это такая вещь, о которой лучше не задумываться. И та, вторая, родила тебе чудесных детей. Очень непростые, очень, своеобразные оба, но ты знаешь, как много хорошего они унаследовали именно от нее. Она прекрасная женщина, и с ней тебе тоже не следовало расставаться. Тут он сказал себе: нет. Иначе нельзя было.

Но все эти мысли теперь не слишком его волновали. Он давно уже перестал волноваться, и свою вину, точно заклятием, отгонял работой, и сейчас думал только об одном: вот приедут мальчики, и нужно, чтобы они хорошо отдохнули здесь это время. А когда они уедут, он вернётся к своей работе.

Он сумел сделать так, что работа заменила ему почти все, кроме детей, – работа и та размеренная, спокойная трудовая жизнь, которую он себе создал на острове. Он верил, что обрел нечто прочное и надежное, то, что надолго и крепко удержит его здесь. Теперь, если на него нападала тоска по Парижу, он просто вспоминал о Париже, вместо того чтобы ехать туда. И так было с другими местами в Европе и со многими в Азии и в Африке.

Ему приходили на память слова Ренуара, сказанные, когда тот узнал, что Гоген уехал писать свои картины на Таити: «Зачем так далеко охать и тратить столько денег, когда так отлично пишется здесь, в Батиньоле?» (по-французски это выходило лучше: «Quand on peint si bien aux Batignolles?»), и Томас Хадсон думал об острове, как о своем quartier<sup>3</sup>. Здесь он чувствовал себя дома, знал всех соседей кругом и работал усердно, как никогда, разве что в Париже, когда Том-младший был еще ребенком.

Иногда он ненадолго уезжал с острова – половить рыбу у берегов Кубы или осенью побродить в горах. Свое монтанское ранчо он сдал в аренду, потому что лучшее время в Монтане – это лето и осень, а к осени мальчики теперь должны были возвращаться в школу.

Иногда ему приходилось ездить в Нью-Йорк, к своему агенту. Но чаще агент теперь приезжал к нему и увозил с собой законченные полотна. Томас Хадсон был художник с именем, широко признанный и на родине, и в Европе. Кроме того, ему приносили регулярный доход разработки нефти, которые велись на земле, когда-то принадлежавшей его деду. Земля была продана под пастбища, и по условиям аренды право эксплуатации недр сохранялось за прежним владельцем. Половина этих денег шла на



алименты, но и того, что оставалось, было довольно, чтобы обеспечить ему существование, и поэтому, он мог писать что хотел и как хотел; нужда на него не давила. И жить мог там, где ему нравилось, и путешествовать, если приходила охота.

Успех сопутствовал ему во всем, кроме семейной жизни, хотя, в сущности, он никогда не думал об успехе. Думал он о живописи и о своих детях и до сих пор любил ту женщину, которая была его первой любовью. После нее он был влюблен во многих женщин, некоторые даже гостили у него на острове. У него была потребность видеть женщин, и поначалу он всегда радовался, когда они приезжали. Ему приятно было их присутствие в доме, иногда даже довольно долгое время. Но в конце концов он провожал их с чувством облегчения, даже если это был кто-то, кто ему очень нравился. Он выработал в себе умение не ссориться с женщинами и не жениться на них. Научиться этим двум вещам было не легче, чем упорядочить свою жизнь и привыкнуть работать размеренно и ровно. Однако он научился, и теперь уже, думалось, навсегда. Владеть кистью он умел давно и считал, что делает это с каждым годом лучше и лучше. Но внести порядок в свою жизнь и дисциплинировать свою работу ему оказалось очень и очень трудно, потому что было в его жизни время, когда он был далек от всякой дисциплины. Безответственным он никогда не был, но был недисциплинирован, эгоцентричен и беспощаден. Теперь он знал это не только потому, что многие женщины ему об этом говорили, но потому, что в конце концов сам к этому пришел. И тогда он решил, что впредь будет эгоцентричен только в своих картинах, беспощаден только в работе и что сумеет дисциплинировать себя и примириться с дисциплиной.

Он будет наслаждаться жизнью в рамках той дисциплины, которую предписал себе, и усиленно работать. А сегодня он чувствовал себя счастливым, потому что утром должны были приехать его дети.

– Мистер Том, вам ничего не нужно? – спросил Джозеф, его слуга. – Вы сегодня уже свое отработали?

Джозеф был высокого роста, с очень черным, очень длинным лицом и большими руками и ногами. Он ходил в белой куртке и белых брюках, но босиком.

– Спасибо, Джозеф. Пожалуй, мне ничего не нужно.

– Может, джинну с тоником?

– Нет. Я, пожалуй, зайду к мистеру Бобби, там выпью.

– Пейте лучше дома. Дешевле. Я мистера Бобби видел, он сегодня не в духе. Замучился, говорит, с этими коктейлями. Какая-то с яхты спросила что-то под названием «Белая дама», а он ей подал американской минеральной воды – знаете, на которой нарисован ручей, а у ручья дама в белом платье, похожем на москитную сетку.

– Все-таки я пойду.

– Дайте я вам хоть одну порцию дома приготовлю. На рейсовом судне привезли почту. Почтаете письма и выпьете коктейль, а потом пойдете к мистеру Бобби.

– Ну ладно, согласен.

– Вот и хорошо, – сказал Джозеф. – А то ведь я уже приготовил. Почта сегодня ничего интересного, мистер Том.

– А где она?

– Внизу, на кухне. Сейчас принесу. Два письма с женским почерком на конвертах. Одно из Нью-Йорка. Одно из Палм-Бич. Красивый почерк. Одно от господина, который продает ваши картины в Нью-Йорке. Еще два не знаю от кого.

– Может, ответишь за меня на все эти письма?

– Пожалуйста, сэр. Если вы желаете. Я ведь кое-чему учился, хоть мне это было и не по карману.

– Да нет уж, лучше принеси их сюда.

– Слушаю, сэр, мистер Том. Там еще и газета есть.

– Газету прибереги к завтраку.

Томас Хадсон сел и стал читать письма, потягивая прохладное питье. Одно

письмо он прочел дважды, потом спрятал всю пачку в ящик стола.

– Джозеф! – крикнул он. – У тебя для мальчиков все готово?

– Да, сэр, мистер Том. Даже два лишних ящика кока-колы. Том-младший, верно, уже меня перерос, а?

– Ну, нет еще.

– Как вы думаете, сможет он теперь меня побороть?

– Едва ли.

– Мы с ним часто боролись в мое свободное время, – сказал Джозеф. – Чудно все-таки называть такого парнишку «мистер». Мистер Том. Мистер Дэвид. Мистер Эндрю. Замечательные ребята, прямо как на подбор. А Эндрю из всех троих самый хитрющий.

– Он и маленький был хитрец, – сказал Томас Хадсон.

– А чем дальше, тем больше, – сказал Джозеф с восхищением.

– Ты им будь хорошим примером это время.

– Мистер Том, как вы хотите, чтобы я теперь был им хороший примером? Три-четыре года назад, в невинном возрасте, это бы еще можно. Я сам думаю взять себе за образец Тома. Он учится в дорогой школе, у него и манеры такие, что дорого стоят. Я, конечно, не могу стать на него похожим. Но держаться, как он, этому я могу научиться. Чтобы и свободно, и легко, и вежливо в то же время. А умом я попробую быть похожим на Дэва. Это, пожалуй, будет трудней всего. И еще постараюсь выведать у Энди, как ему удастся быть таким хитрым.

– Ты только здесь потом не вздумай хитрить.

– Что вы, мистер Том, вы меня плохо поняли. У вас в доме мне хитрость ни к чему. Она мне пригодится в мое свободное время.

– А хорошо, что они приезжают, правда?

– Мистер Том, такого великого события не было со времен большого пожара. Я считаю, что это стоит второго пришествия. Хорошо ли, вы меня спрашиваете? Не то что хорошо – прекрасно.

– Надо будет подумать, как их развлекать, чтобы они не скучали.

– Нет, мистер Том, – сказал Джозеф. – Нам надо будет подумать, как их уберечь от всяких их собственных опасных затей. Тут нам Эдди поможет. Он их лучше знает, чем я. И я им приятель, это затрудняет дело.

– Как он сейчас, Эдди?

– Немножко выпил по случаю дня рождения королевы. Но при этом в самом лучшем виде.

– Пойду-ка я все же к мистеру Бобби, он, должно быть, до сих пор не в духе.

– Он про вас спрашивал, мистер Том. Мистер Бобби – джентльмен до мозга костей, и его иногда утомляет всякий сброд, который сюда наезжает на яхтах. У него был очень утомленный вид, когда я уходил оттуда.

– А что ты там вообще делал?

– Пошел за кока-колой, а заодно решил погонять немножко шары на бильярде.

– Стол все такой же?

– Еще хуже.

– Пойду, – сказал Томас Хадсон. – Вот только приму душ и переоденусь.

– Я вам все чистое приготовил, лежит на кровати, – сказал Джозеф. – Еще джинну с тоником не хотите?

– Нет, спасибо.

– Мистер Роджер приехал.

– Отлично. Я его разыщу.

– Он будет гостить у нас?

– Может быть.

– Я ему приготовлю постель на всякий случай.

– Отлично.

# III

Томас Хадсон принял душ, намылил голову и потом долго стоял под колючими, острыми, напористыми струйками воды. Он был крупным мужчиной и голый казался еще крупней, чем в одежде. Кожа у него была загорелая, а волосы полосами выцвели на солнце. Он встал на весы – сто девяносто два фунта, ничего лишнего.

Надо было пойти поплавать до душа, подумал он. Но я уже утром далеко плавал перед тем, как начать работать, а сейчас я устал. Еще наплаваемся, когда ребята приедут. И Роджер здесь. Это хорошо.

Он надел свежие шорты, старую баскскую рубашку и мокасины, вышел из дома и спустился к калитке, которая вывела его на сверкающий, выбеленный солнцем коралловый известняк Королевского шоссе.

Рослый, с очень прямой спиной, старик негр в черном пиджаке из альпака и отутюженных брюках сошел с крыльца дощатой хижины, каких много стояло в тени кокосовых пальм у обочины дороги, и зашагал по шоссе впереди Томаса Хадсона. Когда он выходил на шоссе, Томас Хадсон успел разглядеть его красивое черное лицо.

Где-то за хижинами детский голос насмешливо затянул на мотив старой английской песенки:

**Дядюшка Эдвард приехал из Нассау, Конфеты он продает. Я съел конфетку, и ты съел конфетку, И у нас заболел живот...**

Дядюшка Эдвард оглянулся, его красивое лицо было сердитое и грустное в ярком свете дня.

– Я тебя знаю, – сказал он. – Я тебя не вижу, но я знаю, кто ты такой. Вот пожалею на тебя констеблю.

Невидимый мальчишка запел еще звонче и веселей:

**Ах, Эдвард, Ох, Эдвард, Старый шут-плут-спрут Эдвард, Конфеты твои – просто дрянь...**

– Все расскажу констеблю, – сказал дядюшка Эдвард. – Констебль на тебя найдет управу.

– Привез сегодня своих дрянных конфет, дядюшка Эдвард? – крикнул мальчишка. Он предусмотрительно не показывался на глаза.

– Травят человека, – сказал дядюшка Эдвард, продолжая идти вперед и ни к кому не обращаясь. – Хотят унижить человека, сорвать с него покровы достоинства. Прости им, боже, ибо не ведают, что творят.

Впереди на Королевском шоссе тоже слышалось пение. Оно несло из раскрытых окон над баром «Понсе-де-Леон». Томаса Хадсона нагнал молодой негр, почти бегом бежавший по коралловому шоссе.

– Скандал там, мистер Том, – сказал он. – А может, уже и драка. Господин с яхты выбрасывает вещи в окно.

– Какие вещи, Луис?

– Всякие вещи, мистер Том. Все, что под руку попадет. Дама его хотела ему помешать, так он сказал, что и даму выбросит тоже.

– А что это за господин?

– Какой-то богач с Севера. Хвалился, что может купить и продать весь наш остров. Пожалуй, цена будет невелика, если он все кругом порасшвыряет.

– А что же констебль?

– Ничего, мистер Том. Констебля пока не звали. Но все думают, без констебля дело не обойдется.

– Так ты, значит, сейчас при них, Луис? А я думал, ты мне приготовишь наживки на завтра.

– Слушаю, сэр, мистер Том. Наживка у вас будет. Вы насчет наживки не беспокойтесь. При них-то я при них. Они меня подрядили сегодня с утра

выйти с ними на рыбную ловлю, и с тех пор я при них. Но только никакой рыбной ловли не было. Нет, сэр. Если только выбрасывать чашки, плошки, тарелки, стулья и всякий раз, когда мистер Бобби пытается подать счет, рвать этот счет в клочки и ругать мистера Бобби бандитом и мошенником и сволочью – если только все это не называется рыбной ловлей.

– Видно, господин из таких, с кем нелегко сладить, Луис.

– Мистер Том, я никого хуже никогда не видал и не увижу. Потребовал он, чтобы я им пел. Вы знаете, я не умею так хорошо петь, как Джози, но я пою, как умею, иногда даже лучше. Стараюсь, чтоб было лучше. Вы знаете. Вам приходилось слышать, как я пою. Поправились ему одна песня – про маму, которой не надобен был ни рис, ни горох, ни кокосовый сок, – и другой он не хочет. Как допою ее, давай опять сначала. Это старая песня, надоело мне ее петь, я и говорю: «Сэр, я знаю новые песни. Хорошие песни. Красивые песни. И старых песен я еще много знаю, вот хотя бы про то, как Джон Джекоб Астор погиб на „Титанике“, когда тот наскочил на айсберг и пошел ко дну, и я рад буду спеть их вам вместо „Ни рис, ни горох“, если пожелаете». Тихо так, вежливо сказал, вы же меня знаете. А он в ответ: «Ах ты поганый черномазый неуч, да у меня заводов, и магазинов, и газет больше, чем твой Джон Джекоб Астор за всю свою жизнь в горшки наложил, простите за грубое слово, сэр, и я вот возьму тебя и обмакну в эти горшки головой, чтоб ты мне по указывал, какие песни слушать». Тут его дама вступилась и говорит: «Милый, ну зачем ты с ним так? Право, он очень хорошо пел, и я с удовольствием послушала бы какие-нибудь новые песни». А он на это: «Не будешь ты их слушать, и он их не будет петь. Заруби это себе на носу». Очень странный господин, мистер Том. А дама только сказала: «Ох, милый, до чего с тобой трудно сладить». Мистер Том, новорожденному мартышонку, только что из материнской утробы, легче сладить с дизель-мотором, чем кому-нибудь с этим господином. Вы уж извините, что я так разболтался. Очень он меня расстроил. Он и свою даму вконец расстроил.

– Что же ты теперь с ними думаешь делать, Луис?

– Вот раздобыл для дамы ракушечного жемчуга.

Они стояли в тени придорожной пальмы, куда отошли в начале разговора, и Луис, достав из кармана чистую тряпицу, бережно развернул ее и показал



несколько блестящих, перламутрово-розовых, очень мало похожих на жемчуг горошин, какие иногда находят местные жители при очистке раковин. Ни одна из знакомых Томасу Хадсону женщин, кроме королевы Марии Английской, не позарилась бы на такой жемчуг. Не то чтобы Томас Хадсон мог считать королеву Марию своей знакомой – он ее видел только на картинках и в кино да еще в «Нью-Йоркере», где часто мелькал ее профиль; но оттого, что она любила ракушечный жемчуг, ему казалось, что он ее знает лучше многих своих давних знакомых. Королева Мария любит ракушечный жемчуг, а сегодня весь остров празднует ее день рождения, думал он, но едва ли ракушечный жемчуг послужит утешением для спутницы того господина, о котором рассказывал Луис. Впрочем, может быть, и королева Мария говорила, что любит этот жемчуг, просто чтобы сделать приятное своим подданным на Багамских островах.

Они шли дальше по направлению к «Понсе-де-Леон», и Луис говорил:

– Эта его дама плакала, мистер Том. Она плакала горькими слезами. Тут я и предложил, что схожу к Рою и принесу ей ракушечного жемчуга, пусть посмотрит.

– Наверно, это ее очень порадует, – сказал Томас Хадсон. – Если она любит ракушечный жемчуг.

– Надеюсь, что порадует. Сейчас отнесу ей.

Томас Хадсон вошел в бар, прохладный и даже темноватый на первый взгляд после сверкания коралловой дороги, и выпил джину с тоником и кусочком лимонной корки, прибавив в стакан несколько капель ангостуры. Мистер Бобби стоял за стойкой с мрачнейшим видом. Четверо молодых негров играли на бильярде, слегка приподнимая одну его сторону, когда по ходу игры предстоял особо сложный карамболь. Пение наверху прекратилось, и в баре было очень тихо, только пощелкивали бильярдные шары. У стойки сидели двое матросов с яхты, ошвартованной у причала. Постепенно глаза Томаса Хадсона привыкли к освещению бара, и ему стало прохладно и приятно. Пришел сверху Луис.

– Господин уснул, – сказал он. – Я оставил жемчужины его даме. Она смотрит на них и плачет.

Томас Хадсон заметил, как матросы с яхты переглянулись, но не сказали ни

слова. Он стоял, держа в руках стакан с приятно-горьковатым напитком, все еще смакуя первый долгий глоток, напомнивший ему Тангу, Момбасу и Ламу и все то побережье, и его вдруг охватила тоска по Африке. Вот он так прочно осел здесь, на этом острове, а ведь мог бы сейчас быть в Африке. Кой черт, подумал он, я всегда могу туда поехать. Нужно находить главное в себе самом, где бы ты ни был. А здесь это мне неплохо удастся.

– Том, вам правда нравится эта штука? – спросил его Бобби.

– Конечно. Иначе я бы не стал ее пить.

– Я раз по ошибке откупорил бутылку, так словно хины глотнул.

– А там есть хина.

– С ума сходят люди, честное слово, – сказал Бобби. – Человек может выбрать себе любой напиток. У него есть чем заплатить. Кажется, пей и получай удовольствие – так нет, он берет и портит добрый джин, наливая туда индийской водички с хиной.

– Мне нравится. Я люблю вкус хины в сочетании с лимонной коркой. От этого коктейля словно все поры в желудке раскрываются. Никакой другой напиток меня так не бодрит. Я себя после него отлично чувствую.

– Знаю. Вы себя всегда хорошо чувствуете, когда выпьете. А я – отвратительно. Где Роджер?

Роджер был приятель Томаса Хадсона, купивший себе рыбацкую хижину на другой стороне острова.

– Скоро появится. Мы с ним сегодня обедаем у Джонни Гуднера.

– Не пойму, что за интерес таким людям, как вы, Роджер Дэвис и Джонни Гуднер, торчать на этом острове.

– Это прекрасный остров. Вы же торчите.

– Я торчу, потому что я здесь деньги зарабатываю.

– Могли бы и в Нассау зарабатывать.

– Черт с ним, с Нассау. Здесь веселее. По части веселья лучше этого острова не найти. И кой-кому здесь случалось сколотить состояние.

– По-моему, здесь жить очень славно.

– Еще бы, – сказал Бобби. – По-моему, тоже. Если можно зарабатывать деньги. Вы эти картины продаете, над которыми все время трудитесь?

– На них сейчас много покупателей.

– Платить деньги за картины, на которых нарисован дядюшка Эдвард! Или негры в воде. Негры на берегу. Негры в лодке. Ловцы черепах. Ловцы губок. Буря на море. Смерч. Шхуна, разбитая волнами. Шхуна, еще не достроенная. Все то, что можно увидеть бесплатно. Неужели их правда покупают?

– Ну конечно. Раз в год в Нью-Йорке устраивается выставка и выставленные картины продаются.

– С аукциона?

– Нет. Тот, кто устраивает выставку, назначает каждой картине цену. Люди смотрят и покупают. Бывает, что и музей купит какую-нибудь.

– А сами вы можете их продавать?

– Конечно.

– Я бы, пожалуй, купил у вас смерч, – сказал Бобби. – Здоровенный чтоб был смерч, черный как дьявол. Или еще лучше два смерча, как они несутся над отмелью с таким ревом, что больше ничего не слышно кругом. Всасывают воду и пугают людей до смерти. И я на своей лодочке – выехал ловить губку и попался. А смерч бушует, сорвал у меня стеклянный щиток. Чуть не всосал и лодку вместе с водой. Такой смерч, что господь бог ему сам не рад. Сколько бы вы с меня взяли за такую картину? Я бы ее прямо вот здесь и повесил. Или у себя дома, если моя старуха не умрет со страху.

– Цена зависит от размера картины.

– Делайте любого размера, какой вам захочется, – величественно разрешил

Бобби. – Такую картину, черт побери, маленькую не сделаешь. Знаете что, нарисуйте даже три смерча. Я раз видел три смерча у острова Андроса, вот как сейчас вас вижу. Они закручивались до самого неба, а один всосал лодку ловца губок, так когда она упала, мотор насквозь пробил днище.

– Вопрос в том, сколько будет стоить холст, – сказал Томас Хадсон. – Я с вас возьму только стоимость холста.

– Ну, тогда покупайте холст побольше, – сказал Бобби. – Мы такие изобразим смерчи, что, кто ни взглянет, со страху тут же выкатится из бара, а то и вовсе удерет с этого чертова острова.

Он был потрясен грандиозностью замысла, но заложенные тут возможности лишь постепенно раскрывались перед ним.

– Том, дружище, а целый ураган вы бы не могли изобразить? Самую завируху, когда с одной стороны уже отбушевало и успокоилось, а с другой только начинается. Чтобы все как есть было нарисовано: от негров, которых швыряет на кокосовые пальмы, и до кораблей, что с волной перекатываются через весь остров. И вырванные доски, как гарпуны, летят по воздуху, и мертвые пеликаны несутся мимо, будто они вылились из тучи вместе с дождем. Нарисуйте барометр, который стоит на двадцати семи, и ветроуказатель, сорванный с места. Нарисуйте большую отмель, залитую водой, и луну, которая выглядывает в просвет между тучами. Пусть там будет водяная стена, как она встает и обрушивается, хороня под собой все живое. Пусть будут женщины, которых смыло в море, а ветер сорвал с них одежду. Пусть мертвые негры качаются на волнах и взлетают в воздух...

– Понадобится очень большой холст, – сказал Томас Хадсон.

– Плевать на холст! – сказал Бобби. – Я вам достану грот-марсель со шхуны. Мы с вами напишем такую, черт побери, картину, какой еще мир не видал, и наши имена войдут в историю. Довольно вам малевать всякие ерундовые картинки.

– Лучше все-таки я напишу смерч, – сказал Томас Хадсон.

– Валяйте, – сказал Бобби, неохотно спускаясь с высот своего грандиозного замысла. – Это разумно. Но, ей-богу, со всем тем, что мы оба видели и знаем, а к тому же еще с вашим умением, у нас получились бы

замечательные картины.

– Я завтра же начну работать над смерчем.

– Ладно, – сказал Бобби. – Это будет начало. Но, ей-богу, хорошо бы нам с вами написать и этот ураган тоже. А что, гибель «Титаника» кто-нибудь изображал?

– В больших масштабах нет.

– Может, нам за это взяться? Меня всегда увлекали такие сюжеты. Вы бы постарались передать на картине холод айсберга, когда он отходит после толчка. А кругом все в густом тумане. Изобразите все подробности. Изобразите того человека, что сел в шлюпку с женщинами, потому что он, мол, яхтсмен и сможет их спасти. Нарисуйте, как он лезет в шлюпку, этот верзила, наступая прямо на женщин сапогами. Он, наверно, был похож на того типа, который сейчас спит наверху. Вот вы бы поднялись сейчас туда и нарисовали его, пока он спит, пригодится для картины.

– Мне кажется, лучше нам все-таки начать со смерча.

– Том, я хочу, чтоб вы были по-настоящему великим художником, – сказал Бобби. – Бросьте все эти ваши детские забавы. Вы просто растрчиваете себя по-пустому. Смотрите, меньше чем в полчаса мы с вами сочинили три картины, а я еще даже не открыл кранов своей фантазии. Ну, чем вы до сих пор занимались? Рисовали негра, который ловит на берегу черепаху. Даже не зеленую черепаху. Самую обыкновенную черепаху. Или двух негров в лодке, где на дне копошится куча лангустов. По-пустому, по-пустому растрчиваете свою жизнь.

Он умолк и, достав из-под стойки бутылку, торопливо глотнул из горлышка.

– Это не считается, – сказал он Томасу Хадсону. – Вы этого не видели. Слушайте, Том, три картины, что мы тут сочинили, замечательные картины. Великие картины. Мировые картины. Могли бы висеть в Хрустальном дворце среди шедевров всех времен. Ну, кроме первой, пожалуй, там сюжет поскромнее. А ведь мы еще не принялись за работу. Что нам мешает написать такую картину, которая бы превзошла все эти три? Как вы насчет этого?

Он еще раз глотнул из бутылки.

– Насчет чего?

Бобби перегнулся через стойку, чтобы его никто больше не слышал.

– Вы только не шарахайтесь, – сказал он. – Пусть вас не смущает размах. Нужно дерзать, Том. Давайте напишем с вами конец света. – Он выдержал паузу. – В натуральную величину.

– Ого.

– Ничего не «ого». Вот слушайте. Только что разверзся ад. Трясуны собрались на радение в свою церковь на горе и голосят на непонятных языках. И тут же черт с вилами, он их сгребает и грузит на повозку, а они стонут, и вопят, и взывают к Иегове. Повсюду валяются распростертые на земле негры, а вокруг них и прямо по их телам ползают лангусты, мурены и морские пауки. В одном месте что-то вроде большого открытого люка, из которого идет пар; черти волокут туда и негров, и трясунов, и священников, и всех сваливают в этот люк, и больше мы их не видим. А в бурном море вокруг острова кишмя кишат акулы – и колючие, и сельдевые, и нокотницы, и пилоносы; и кто пытается спастись вплавь, чтобы черти его не загребли вилами, тот сразу попадает акулам в пасть. Пьяницы спешат хлебнуть напоследок и отбиваются от чертей бутылками. Но черти все-таки загребают их или же их волной смывает в море, где уже к тем акулам прибавились новые, а дальше кружат по воде киты, и кашалоты, и еще разные морские чудища, так что кого не сожрут акулы, тому все равно далеко не уйти. Склоны холмов усеяны собаками и кошками, за ними тоже охотятся черти со своими вилами, собаки скулят и увертываются, а кошки царапают чертей когтями, и шерсть на них стоит дыбом, и в конце концов они бросаются в море и плывут во всю мочь. Иная акула ударит хвостом, и видно, как она скрывается под водой. Но многим удастся проскочить.

Из люка уже пышет удушливым жаром, а некоторые черти пообломали о священников свои вилы, и теперь им приходится тащить туда людей вручную. А в самом центре картины стоим мы с вами и спокойно смотрим на все, что творится кругом. Вы чего-то записываете в блокноте, а я то и дело прикладываюсь к бутылке, чтобы освежиться, и вам тоже даю. Порой какой-нибудь черт, весь взмокший от натуги, тащит чуть не прямо на нас

жирного священника, а тот упирается, цепляясь пальцами за песок и истошным голосом призывая Иегову, и черт говорит нам: «Пардон, мистер Том. Пардон, мистер Бобби.. Совсем запарился сегодня». А на обратном пути, когда он бежит за следующим священником, утирая с морды пот и грязь, я ему предлагаю выпить, но он отвечает: «Нет, мистер Бобби, спасибо. На работе не употребляю». Ох, и картина же получится, Том, если мы сумеем придать ей нужный размах и движение.

– Ну, мне кажется, на сегодня мы уже сочинили больше чем требуется.

– Да, черт побери, пожалуй, вы правы, – сказал Бобби. – Тем более что от этого занятия – сочинять картины – у меня в горле сохнет.

– Был один человек, Босх, он писал в таком духе и очень здорово.

– Это тот, что по электричеству?

– Нет. Иероним Босх. Он жил очень давно. Очень хороший художник. И у Питера Брейгеля есть такие сюжеты.

– Он тоже давно жил?

– Очень давно. Очень хороший художник. Вам бы понравился.

– К чертям всех старых художников, – сказал Бобби. – Им до нас далеко. И потом конец света до сих пор не наступил, так откуда этому Босху было знать о нем больше, чем знаем мы?

– С ним нелегко будет тягаться.

– И слышать этого не хочу, – сказал Бобби. – После нашей картины о нем никто и не вспомнит.

– Бобби, нельзя ли повторить?

– Фу, черт! Совсем забыл, что я за стойкой. А какой сегодня день, мы тоже забыли! Боже, храни королеву. Выпьем за ее здоровье, Том, я угощаю.

Он налил себе стаканчик рому, а Томасу Хадсону протянул бутылку бутсовского желтого джину, блюдечко с лимоном и бутылку, индийского

тоники «Швеппс».

– Стряпайте себе свое питье сами. Терпеть не могу эту мешанину.

Томас Хадсон налил поровну того и другого, добавил несколько капель из сосуда со вставленным в пробку перышком чайки и поднял было стакан, но оглянулся на матросов, сидевших у другого конца стойки.

– Вы что пьете? Скажите, как называется, если знаете.

– «Песья голова», – ответил один из них.

– Точно, «Песья голова», – сказал Бобби и, сунув руку в ящик со льдом, достал им по бутылке холодного эля. – Вот только стаканов нет, – сказал он. – Нашлись тут пьяницы, целый день швыряли стаканы в окно. Ну как, теперь у всех есть? За королеву, джентльмены! Не думаю, что ей так уж интересен этот остров, и сомневаюсь, чтобы она себя хорошо чувствовала здесь. Но – за королеву, джентльмены! Храни ее бог.

Все выпили.

– Замечательная, должно быть, женщина, – сказал Бобби. – Пожалуй, только чересчур чопорная для меня. Вот королева Александра, та больше в моем вкусе. Люблю таких. Но день рождения королевы мы отпразднуем, как положено. Хоть остров наш маленький, патриотизма нам не занимать стать. Один здешний житель участвовал в войне, и ему оторвало руку. Это ли не патриотизм!

– Чей, говорите, сегодня день рождения? – спросил один из матросов.

– Королевы Марии Английской, – сказал Бобби. – Матери нынешнего короля-императора.

– Это та, что ли, в честь которой судно названо? – спросил другой матрос.

– Том, – сказал Бобби. – Следующий тост мы будем пить с вами вдвоем.



## IV

Стемнело, и подул легкий ветер, так что и комары и мошки исчезли и суда уже вернулись в гавань, подняв на борт аутриггеры еще в проливе, и теперь стояли у причалов, которые тянулись от береговой линии в гавань. Отлив шел быстро, и огни судов дрожали на воде, отсвечивавшей зеленым и так стремительно убывавшей, что ее засасывало под настил причала и крутило воронкой за кормой большого катера, на который поднялся Томас Хадсон. В воде – там, где огни плескались между обшивкой катера и некрашеным настилом причала с кранцами из старых автомобильных шин, темными кругами отражавшимися в темноте у камней, – стояли, держась против течения, сарганы, приплывшие сюда на свет. Длинные, плоские, с прозеленью, как и вода, они не кормились тут, не играли; они только, подрагивая хвостами, держались против течения, зачарованные светом.

«Нарвал» – катер Джонни Гуднера, где они с Томасом Хадсоном ждали Роджера Дэвиса, – утыкался носом в убывающую воду, а кормой к корме за ним стояла яхта того самого человека, который весь день провел у Бобби. Джонни Гуднер сидел на стуле, положив ноги на другой стул, в правой руке у него был стакан «Томми Коллинза», а в левой – длинный зеленый стручок мексиканского перца.

– Замечательно, – сказал он. – Я откусываю помаленьку, и во рту у меня начинается пожар, а я остужаю его вот этим.

Он откусил первый кусочек, проглотил его, выдохнул «х-х!» сквозь свернутый трубочкой язык и потом долго тянул из высокого стакана. Его полная нижняя губа посасывала тонкую, типично ирландскую верхнюю, а улыбались одни серые глаза. Уголки губ у него всегда были приподняты, и поэтому казалось, что он вот-вот улыбнется или только что улыбнулся. Но рот мало что говорил о нем, если бы не тонкая верхняя губа. Присматриваться следовало к глазам. Рост и сложение у Джонни Гуднера были, как у немного отяжелевшего боксера среднего веса, но сейчас, развалившись на двух стульях, он выглядел складно. А человека, потерявшего форму, такая вольная поза сразу выдает. Лицо у него было

покрыто ровным загаром, лупились только нос и лоб, уходивший назад вместе с редеющими волосами. Шрам на подбородке мог бы сойти за ямочку, если бы приходился ближе к серединке, а переносица была чуть приплюснута. Сам по себе нос был не плоский. Он будто вышел из рук современного скульптора, который работал сразу в мраморе и стесал тут самую малость больше, чем следовало.

– Том, пропащая твоя душа. Чем ты был занят это время?

– Работал, и довольно упорно.

– Ну еще бы! – сказал Джонни Гуднер и отправил в рот второй кусок зелёного перца. Стручок был очень вялый, сморщенный, дюймов шести в длину.

– Только поначалу жжет, – сказал он. – Как любовь.

– Черта с два. Перец жжет не только поначалу.

– А любовь?

– К черту любовь, – сказал Томас Хадсон.

– Это что за настроения? Что за разговоры? Ты в кого это превращаешься у нас на острове? В чокнутого овцевода при отаре?

– Здесь овец нет, Джонни.

– Ну, в чокнутого крабовода, – оказал Джонни. – Мы не собираемся держать тебя здесь на привязи. Возьми попробуй перца.

– Я уже пробовал, – сказал Томас Хадсон.

– Про твои прошлые дела я все знаю, – сказал Джонни. – Не щеголяй передо мной своим славным прошлым. Ты, может, всех их выдумал. Знаю, знаю. Ты, может, первый ввез их на вьючных яках в Патагонию? Ну а я человек современный. Слушай, Томми. Перец фаршируют лососиной. Фаршируют морским окунем. Фаршируют чилийской скумбрией. Грудкой мексиканской горлицы. Индюшатиной и кротовым мясом. Мне его чем угодно фаршируй, я все беру. Вот, мол, я какой магнат, черт меня подери.

Но это все извращения. Нет ничего лучше такого вот длинного, вялого, скучного, совсем не соблазнительного, без всякого фарша, простого перчика под коричневым соусом из чупанго. Ух ты, зверюга, – он снова дыхнул, высунув сложенный трубочкой язык, – пожалуй, я тебя все-таки малость перебрал.

Он приложился к стакану.

– Этот перец дает мне лишний повод выпить, – пояснил он. – Остужаю свою пасть. А ты что будешь?

– Пожалуй, еще одну порцию джина с тоником.

– Бой! – крикнул Джонни. – Еще порцию джина с тоником бване М'Кубва.

Фред, один из местных негров, которых капитан катера нанял для Джонни, подал стакан Томасу Хадсону.

– Пожалуйста, мистер Том.

– Спасибо, Фред, – сказал Томас Хадсон. – За королеву, дай ей бог здоровья!

И они выпили.

– А где наш милейший распутник?

– Он у себя дома. Скоро придет.

Джонни съел еще один стручок, на сей раз без всяких комментариев, допил виски и сказал:

– А на самом-то деле, как ты тут, старик?

– О'кей, – сказал Томас Хадсон. – Я уже научился жить в одиночку, да и работы хватает.

– Тебе нравится здесь? Если осесть навсегда?

– Нравится. Надоело мыкаться со всем, что есть на душе. Лучше уж на одном месте. Мне тут неплохо, Джонни. Совсем неплохо.

– Здесь хорошо, – сказал Джонни. – Для такого, как ты, с внутренним содержанием, здесь хорошо. А для такого, как я, который то гоняется за этим самым, то от этого удирает, тут погибель. А правда, что наш Роджер в красивые записался?

– Значит, уже пошли толки?

– Я слышал кое-что, когда был в Калифорнии.

– А что с ним там случилось?

– Да я всего не знаю. Но, кажется, дело было плохо.

– Действительно плохо?

– У них там на этот счет свои понятия. Не то чтобы растление, если ты об этом. Но понимаешь, при тамошнем климате, да на свежих овощах, да все такое прочее, там не только футболисты здоровенные вырастают. Пятнадцатилетняя девчонка выглядит на все двадцать четыре. А в двадцать четыре она – что твоя Мэй Уитти. Если жениться не собираешься, посмотри внимательно на ее зубы. Впрочем, и по зубам возраста не определишь. И у всех у них мамаша или папаша, а то и оба, и все они голодные. Климат такой – аппетит очень развивается. Беда в том, что человек иной раз взиграет, и нет того чтобы поинтересоваться, есть ли у нее водительские права или карточка социального страхования. По-моему, в таких случаях надо бы судить по росту, по весу, а не только по возрасту и вообще проверять, на что они способны. Если судить только по возрасту, то часто получается несправедливо. И для нас и для них. В других видах спорта раннее развитие не наказуемо. Наоборот. Для юниоров особые нормы – вот это было бы справедливо. Как на скачках. Меня раз здорово подковали. Но Роджер погорел не на этом.

– А на чем я погорел? – спросил Роджер Дэвис.

В туфлях на веревочной подошве он бесшумно спрыгнул с причала на палубу и стал – огромный, в спортивном свитере, размера на три больше, чем нужно, и в тесно облегающих поношенных брюках из бумажной материи.

– Привет! – сказал Джонни. – Я не слышал вашего звонка. Вот говорю

Тому: за что вас сцапали, не знаю, только не за малолетнюю.

– Прекрасно, – сказал Роджер. – И на этом точка.

– А вы не командуйте, – сказал Джонни.

– А я не командую, – сказал Роджер. – Я вежливо. А что, пить здесь разрешается? – Он посмотрел на яхту, которая стояла кормой к ним. – Это еще кто?

– Это те самые, из «Понсе». Вы разве не слышали?

– А-а! – сказал Роджер. – Давайте все-таки выпьем, хотя они и подали нам дурной пример.

– Бой! – крикнул Джонни.

Фред вышел из кубрика.

– Да, сэр, – сказал он.

– Выясни, чего желают сагибы.

– Что прикажете, господа? – спросил Фред.

– Мне того же, что пьет мистер Том, – сказал Роджер. – Он мой наставник и воспитатель.

– Много в этом году мальчиков в лагере? – спросил Джонни.

– Пока только двое, – сказал Роджер. – Я с моим воспитателем.

– Надо говорить: мы с моим воспитателем, – сказал Джонни. – А еще книжки пишете!

– Можно нанять человека, пусть исправляет грамматику.

– Еще нанимать. Лучше дарового найдите, – сказал Джонни. – Я тут побеседовал с вашим воспитателем.

– Воспитатель говорит, ему здесь хорошо, он всем доволен. Он надолго

здесь высадили.

– Ты бы сходил посмотреть, как мы живем-поживаем, – сказал Том. – Кое-когда он отпускает меня, и я хожу выпить.

– Женщины?

– Никаких женщин.

– Что же вы, мальчики, делаете?

– У меня весь день занят.

– Но вы и раньше здесь жили, а тогда что делали?

– Купались, ели, пили. Том работает, читаем, разговариваем, читаем, рыбачим, рыбачим, купаемся, пьем, спим...

– И никаких женщин?

– И никаких женщин.

– А это не вредно? Атмосфера вроде нездоровая. А опиума вы, мальчики, много курите?

– Как, Том? – спросил Роджер.

– Только высший сорт, – сказал Томас Хадсон.

– Выращиваете хороший урожай марихуаны?

– Выращиваем, Том? – спросил Роджер.

– Год плохой, – сказал Томас Хадсон. – Дожди все к чертовой матери залили.

– Нездоровая, на мой взгляд, атмосфера. – Джонни выпил. – Единственное спасительное обстоятельство – это то, что вы еще пьете. Вы, мальчики, не ударились ли в религию? Может, Тома осенил свет божий?

– Как, Том? – спросил Роджер.

– Отношения с богом без существенных перемен, – сказал Томас Хадсон.

– Теплые?

– Мы народ терпимый, – сказал Томас Хадсон. – Пожалуйста, упражняйтесь в любой вере. На острове есть бейсбольная площадка, можете там поупражняться.

– Я этому боженьке пошлю мяч повыше, в самый пуп, если он попробует выйти к столбу, – сказал Роджер.

– Роджер, – укоризненно сказал Джонни. – Уже темнеет. Вы разве не видите, что наступают сумерки, сгущается тьма и мрак окутывает землю? А ведь вы писатель. В темноте неуважительно отзываться о боге не рекомендуется. А вдруг он стоит у вас за плечами с занесенной битой.

– К столбу он выйдет обязательно, – сказал Роджер. – Я недавно видел, как он пристраивался.

– Не сомневайтесь, сэр, – сказал Джонни. – Да так запустит мяч, что мозги вам вышибет. Я видел, как он отбивает.

– Да. Надо думать, видели, – согласился с ним Роджер. – И Том видел, и я. Но мне все-таки хочется, чтобы он промазал.

– Давайте прекратим теологический спор, – сказал Джонни. – Надо чего-нибудь поесть.

– Этот старый сморчок, которому ты позволяешь водить твою посудину по океану, еще не научился готовить? – спросил Томас Хадсон.

– Будет тушеная рыба, – сказал Джонни. – И еще ржанка с желтым рисом. Золотистая ржанка.

– Расписываешь, как специалист по интерьеру, – сказал Том. – В это время года никакого золота на них нет. Где ты подстрелил этих ржанок?

– На острове Южном. Мы там бросили якорь, чтобы выкупаться. Я два раза подсвистывал стаю и шлепал их одну за другой. Угощаю по две на брата.

Вечер был мягкий, и, пообедав, они сидели на корме, лили кофе, курили сигары, с другого катера пришли двое бездельников с гитарой и банджо, а на причале собрались негры, и оттуда то и дело слышалось пение. В темноте на причале негры заводили какую-нибудь песню, и тогда ее подхватывал Фред Уилсон, у которого была гитара, а Франк Харт тренькал на банджо. Томас Хадсон не умел петь, он сидел в темноте, откинувшись на спинку стула, и слушал.

На берегу у Бобби праздновали вовсю, и из открытой двери на воду падал яркий свет. Отлив все еще продолжался, и там, где вода была подсвечена, прыгала рыба. Все больше серые снепперы, подумал Том. Хватают пущенных на приманку рыбешек, которых относит от берега отливом. Несколько негритянских мальчишек сидели с лесками, и слышны были их разговоры, и негромкая брань, когда рыба срывалась с крючка, и шлепки выловленных снепперов о настил причала. Снепперы были крупные, а ребята ловили их на мякоть марлина, которого еще утром привезли на одном из катеров и уже взвесили, вздёрнули на крюк, сфотографировали и разделали на куски.

Слушать пение на причале собралась большая толпа, и Руперт Пиндер – огромный негр, который считал себя могучим бойцом и, по рассказам, как-то раз один дотащил на спине рояль с правительственного причала в старый клуб, который потом снесло ураганом, – крикнул:

– Капитан Джон, ребята говорят, у них во рту пересохло!

– Купи им чего-нибудь недорогого и полезного для здоровья.

– Слушаю, сэр, капитан Джон. Рому.

– Вот именно, – оказал Джон. – И бери сразу бутыль. Дешевле встанет.

– Большое спасибо, капитан Джон, – сказал Руперт. Он пошел сквозь толпу, которая торопливо расступалась, давая ему дорогу, и снова смыкалась позади него. Томасу Хадсону было видно, что все они двинулись к кабачку Роя.

В эту минуту с одного из катеров, стоявших у причала Брауна, с шипением взмыла в небо ракета и с треском вспыхнула, осветив пролив. Вторая, шипя, взлетела вкось и вспыхнула как раз над ближним концом их причала.



– Ах ты, черт! – сказал Фред Уилсон. – Чего же мы-то не послали за ракетами в Майами!

Ночь то и дело освещали вспышки с треском разрывавшихся ракет. Руперт со своей свитой снова появился на причале, неся на плече большую оплетенную бутыль.

С одного из катеров тоже запустили ракету, и она взорвалась над самой пристанью, осветив толпу, темные лица, шеи, и руки, и плоское лицо Руперта, его широкие плечи, и могучую шею, и оплетенную сеткой бутыль, нежно и горделиво прижавшуюся к его голове.

– Кружек, – сказал он своей свите, бросив это слово через плечо. – Эмалированных кружек.

– Есть жестяные, Руперт, – сказал кто-то.

– Эмалированные кружки, – сказал Руперт. – Достаньте. Купите у Роя. Вот деньги.

– Фрэнк, давай нашу ракетницу, – сказал Фред Уилсон. – Расстреляем те патроны, что есть, а новые где-нибудь достанем.

Пока Руперт величественно ждал эмалированных кружек, кто-то принес кастрюлю, и Руперт налил в нее рому, и она пошла по кругу.

– За маленьких людишек! – сказал Руперт. – Пейте, скромные людишки.

Пение не умолкало, но пели без особенного склада. Заодно с запуском ракет на некоторых катерах палили из винтовок и пистолетов, а с причала Брауна стрекотал пистолет-пулемет, стрелявший трассирующими пулями. Сначала он дал две очереди из трех и четырех пуль, а потом выпустил целую обойму, перекинув над гаванью красивую арку из красных трассирующих пуль.

Фрэнк Харт спрыгнул на корму с ракетницей в чехле и с пачкой патронов, и как раз в эту минуту подоспели кружки, и один из подручных Руперта стал разливать ром и подавать кружки всем по очереди.

– Боже, храни королеву, – сказал Фрэнк Харт, зарядил ракетницу и послал

сигнальный патрон вдоль причала прямо в открытые двери бара мистера Бобби. Патрон ударил в бетонную стену правее двери, взорвался и ярко вспыхнул на коралловой дороге, осветив все белым огнем.

– Легче, легче, – сказал Томас Хадсон. – Так можно людей обжечь.

– Катись ты со своим «легче», – сказал Фрэнк. – Посмотрим, удастся ли мне вдарить по комиссарскому дому.

– Смотрите, как бы не поджечь, – сказал ему Роджер.

– Я подожгу, я и за поджог буду платить, – сказал Фрэнк.

Ракета описала полукруг, но не долетела до большого белого дома, где жил английский правительственный комиссар, и ярко вспыхнула, упав у его веранды.

– Милый наш комиссар! – Фрэнк снова зарядил ракетницу. – Будешь знать, подлец, патриоты мы или нет.

– Легче, Фрэнк, легче, – останавливал его Том. – Не надо дебоширить.

– Сегодня моя ночка, – сказал Фрэнк. – Королевина и моя. Не мешай мне, Том, сейчас буду лупить по причалу Брауна.

– Там бензин, – сказал Роджер.

– Недолго он там простоит, – ответил ему Фрэнк.

Трудно было сказать, мажет ли он, чтобы подразнить Роджера и Томаса Хадсона, или просто не умеет стрелять. Ни Роджер, ни Томас Хадсон не могли определить это, но оба они знали, что из ракетницы попадать точно в цель нелегко. А на причале был бензин.

Фрэнк встал, старательно прицелился, вытянув левую руку вдоль туловища, как дуэлянт, и выстрелил. Ракета попала не туда, где стояли баки с бензином, а на противоположный конец и рикошетом отлетела в пролив.

– Эй, там! – крикнул кто-то с одного из катеров, стоявших на приколе у Брауна. – Какого черта балуетесь!

– Почти в самую точку, – сказал Фрэнк. – Теперь опять попробую по комиссару.

– А ну прекрати, – сказал ему Томас Хадсон.

– Руперт! – крикнул Фрэнк, не обращая внимания на Томаса Хадсона. – Дай выпить, а?

– Слушаю, сэр, капитан Фрэнк, – сказал Руперт. – Кружка у вас есть?

– Принеси кружку, – сказал Фрэнк Фреду, который стоял рядом и наблюдал за ним.

– Слушаю, сэр, мистер Фрэнк.

Фред соскочил вниз и вернулся с кружкой. Он так и сиял от волнения и удовольствия.

– Вы хотите поджечь комиссара, мистер Фрэнк?

– Если он загорится, – сказал Фрэнк.

Он подал кружку Руперту, и тот налил ее на три четверти и протянул ему.

– За королеву, храни ее бог! – Фрэнк выпил все до дна.

Надо же было хватить такую порцию рому, да еще одним духом!

– Храни ее бог! Храни ее бог, капитан Фрэнк! – торжественно проговорил Руперт, и остальные подхватили:

– Храни ее бог! И правда, храни ее бог!

– А теперь примемся за комиссара, – сказал Фрэнк. Он выстрелил из ракетницы прямо вверх, чуть по ветру. Ракетница была заряжена парашютным патроном, и ветер понес яркую, белую вспышку вниз, прямо над яхтой, стоявшей у них за кормой.

– Так вы в комиссара не попадете, – сказал Руперт. – Что же вы, капитан Фрэнк? •

– Мне хотелось осветить эту прелестную сценку, – сказал Фрэнк. – С комиссаром торопиться некуда.

– Комиссар хорошо бы загорелся, капитан Фрэнк, – говорил ему Руперт. – Я не хочу вам подсказывать, но на острове уже два месяца не было дождя, и комиссарский дом сухой, как труха.

– А где констебль? – спросил Фрэнк.

– Констебль держится в стороне, – сказал Руперт. – Насчет констебля не беспокойтесь. Если отсюда кто выстрелит, ни одна душа этого не заметит.

– На причале все лягут ничком, и никто ничего, – слышался чей-то голос из задних рядов. – Ничего не слышали, ничего не видали.

– Я дам команду, – подстрекал его Руперт. – Все отвернутся. – И добавил, подбадривая: – Дом сухой, как трут.

– А ну, проверим, как это у тебя получится, – сказал Фрэнк.

Он снова зарядил ракетницу парашютным патроном и выстрелил вверх и по ветру. При ослепительной, падающей вниз вспышке было видно, как люди лежат на причале ничком или стоят на четвереньках, зажмурив глаза.

– Да хранит вас бог, капитан Фрэнк, – слышался из темноты низкий торжественный голос Руперта, как только вспышка погасла. – Да сподобит он вас по великой милости своей поджечь комиссара.

– А где его жена и дети? – спросил Фрэнк.

– Мы их вытащим. Не беспокойтесь, – сказал Руперт. – Без вины никто не пострадает.

– Ну как, подожжем комиссара? – Фрэнк повернулся к тем, кто был в копите.

– Да брось ты, ради бога, – сказал Томас Хадсон. – Что в самом деле!

– Я утром уезжаю, – сказал Фрэнк. – Так что с меня взятки гладки.

– Давайте спалим его, – сказал Фред Уилсон. – Местным, видно, это по душе.

– Спалите комиссара, капитан Фрэнк, – подзуживал его Руперт. – А вы как скажете, ребята? – обратился он к толпе.

– Спалите его. Спалите. Да сподобит вас господь поджечь его дом, – зашумели негры на причале.

– Есть такие, кто против? – спросил их Фрэнк.

– Спалите его, капитан Фрэнк. Никто ничего не видал. Никто ничего не слышал. Никто ничего не говорил. Спалите его.

– Надо малость попрактиковаться, – сказал Фрэнк.

– Если будешь его поджигать, проваливай с катера, – сказал Джонни.

Фрэнк посмотрел на него и покачал головой, но так, что ни Руперт, ни остальные на причале этого не заметили.

– Ну считайте, один пепел от него остался, – сказал он. – Налей мне еще, Руперт, чтобы я укрепился в своем решении.

Он протянул вверх свою кружку.

– Капитан Фрэнк, – Руперт нагнулся к нему, – это будет самое лучшее, что вы сделали в жизни.

Негры на причале затянули новую песню:

**Капитан Фрэнк в порту,Значит, вечером будет потеха.**

Потом пауза и чуть выше:

**Капитан Фрэнк в порту,Значит, вечером будет потеха.**

Вторую строку прогудели так, будто били в барабан. И дальше:

**Комиссар обозвал Руперта черномазым псом.Капитан Фрэнк  
выстрелил из ракетницы,И гори, губернатор, огнем.**

Потом снова перешли на ритмы Африки, которые четверо на катере слышали у негров – у тех, что тянули канат на паромах через реки, пересекающие дорогу к Момбасе, Малинди и Ламу. Негры дружно тянули канат и пели тут же сочиненные песни, описывая и высмеивая своих белых пассажиров.

**Капитан Фрэнк в порту,Значит, вечером будет потеха,Капитан Фрэнк в порту.**

Вызов, оскорбительный, отчаянный вызов звучал в минорной мелодии. Потом припев, гулкий, как рокот барабана:

**Значит, вечером будет потеха.**

– Вот видите, капитан Фрэнк? – подзуживал его Руперт, наклоняясь над кокпитом. – Вы еще ничем не отличились, а песню про вас уже поют.

– Я уже отличился, да еще как! – сказал Фрэнк Томасу Хадсону. Потом Руперту: – Пальну еще разок для тренировки.

– Тренировка – великое дело, – радостно проговорил Руперт.

– Капитан Фрэнк тренируется, как убивать, – сказал кто-то на причале.

– Капитан Фрэнк злее дикого кабана, – слышался другой голос.

– Капитан Фрэнк – настоящий мужчина.

– Руперт, – сказал Фрэнк, – налей-ка еще кружку. Это не для храбрости. Просто чтобы рука не подвела.

– Господь да направит вашу руку, капитан Фрэнк. – Руперт протянул ему кружку. – Пойте песню про капитана Фрэнка, ребята.

Фрэнк выпил все до дна.

– Последний тренировочный выстрел, – сказал он, пустил ракету, и она, пролетев над яхтой, стоявшей у них за кормой, ударилась об один из бензиновых баков на причале у Брауна и отлетела в воду.

– Сволочь ты эдакая, – тихо сказал ему Томас Хадсон.

– Молчи, ханжа, – сказал Томасу Хадсону Фрэнк. – Это был мой шедевр.

В эту минуту из каюты на яхте вышел на палубу мужчина в пижамных штанах без куртки и закричал:

– Эй вы, свиньи! Прекратите немедленно! Здесь на яхте дама из-за вас заснуть не может!

– Дама? – переспросил Уилсон.

– Да, черт вас дери, дама, – сказал человек в пижамных штанах. – Моя жена. Запускают тут ракеты, стервецы, мешают ей спать. Разве заснешь под такой грохот?

– А вы бы дали ей снотворного, – сказал Фрэнк. – Руперт, пошли кого-нибудь за снотворным.

– Что же вы делаете, полковник? – сказал Уилсон. – Вели бы себя, как полагается порядочному супругу. Вот ваша жена и заснула бы. Ей, наверно, приходится угнетать свои порывы. Наверно, она обманулась в своих ожиданиях. Моей жене психоаналитик всегда так говорит.

Фрэнк и Уилсон были отпетые ребята, и Фрэнк, конечно, был кругом неправ, но владелец яхты, весь день бушевавший у Бобби, взял сейчас совершенно неправильный тон. Джон, Роджер и Томас Хадсон не сказали ни слова. Зато те двое времени не теряли, и, как только яхтсмен выскочил на палубу с криком «свиньи», они взялись за дело дружно, точно партнеры по бейсболу.

– Свиньи поганые, – сказал яхтсмен. Словарь у него, видимо, не отличался богатством. Ему было лет тридцать пять – сорок, определить точнее было трудно, хотя он включил фонарь на палубе. Выглядел он лучше, чем ожидал Томас Хадсон, наслушавшись про него за день: наверно, успел выспаться. Тут Томас Хадсон вспомнил, что этот тип отсыпался еще у Бобби.

– Я бы посоветовал ей нембутал, – доверительным тоном сказал Фрэнк. – Если, конечно, у нее нет к нему аллергии.

– Не понимаю, почему она чувствует такую неудовлетворенность, – сказал Фред Уилсон. – В физическом смысле вы же прекрасный экземпляр. Вид у вас просто великолепный. Вы, наверно, гроза теннисного клуба. Такую форму сохраняете – во что вам это обходится? Погляди на него, Фрэнк. Ты видал когда-нибудь такую дорогостоящую верхушку у мужчины?

– А все-таки вы допустили ошибку, уважаемый, – сказал Фрэнк. – Не ту часть пижамы надели. Честно говоря, я впервые вижу, чтобы мужчина щеголял в одних пижамных штанах. Вы и в постель так ложитесь?

– Не мешайте даме уснуть, трепачи паршивые, – сказал яхтсмен.

– Спустились бы вы лучше вниз, – сказал ему Фрэнк. – А то как бы вам не влипнуть тут в историю из-за ваших словечек. Кто за вами присмотрит, шофера-то при вас нет. Вас в школу всегда шофер возит?

– Он не школьник, Фрэнк, – сказал Фред Уилсон, откладывая в сторону гитару. – Он уже большой. Он бизнесмен. Что, ты не можешь распознать бизнесмена, который ворочает крупными делами?

– Ты бизнесмен, сынок? – спросил Фрэнк. – Тогда беги вниз в каюту, это самое лучшее для тебя дело. А торчать здесь, наверху, – это вообще не дело.

– Он прав, – сказал Фред Уилсон: – На нас ты не наживешься. Ступай лучше к себе в каюту. А к шуму, ничего, привыкнешь.

– Свиньи грязные, – сказал яхтсмен, переводя взгляд с одного на другого.

– Уноси свое роскошное тело в каюту, слышал? – сказал Уилсон, – А дама твоя уж как-нибудь заснет. Я в этом не сомневаюсь.

– Свиньи, – сказал яхтсмен. – Свиньи паршивые.

– А другого словечка ты не придумаешь? – сказал Фрэнк. – **Свиньи** начинают здорово надоедать. Ступай вниз, ступай, а то простудишься. Будь у меня столь роскошный торс, я бы не стал рисковать им в такой ветреный вечер.

Яхтсмен оглядел их всех, точно стараясь запомнить.



– Ты нас не позабудешь, – сказал ему Фрэнк. – А забудешь, так я сам тебе напомню при встрече.

– Пададь, – сказал яхтсмен, повернулся и ушел вниз.

– Кто он такой? – спросил Джонни Гуднер. – Я будто видел его где-то.

– Я его знаю, и он меня знает, – сказал Фрэнк. – Дрянь человек.

– А кто он такой, ты не помнишь? – спросил Джонни.

– Он барахло, – сказал Франк. – Какая разница, кто он, что он, если это барахло.

– Пожалуй, никакой, – сказал Томас Хадсон. – Но вы оба уж очень на него навалились.

– А с барахлом так и надо. Наваливайся на него. Но мы не так уж грубо с ним обошлись.

– Свою антипатию вы от него, по-моему, не скрыли, – сказал Томас Хадсон.

– Я слышал собачий лай, – сказал Роджер. – Ракеты, наверно, напугали его собаку. Хватит этих ракет. Я знаю, вы развлекаетесь, Фрэнк. Вам везет, что никакой беды вы не натворили. Но зачем пугать несчастную собачонку?

– Это его жена лаяла, – весело сказал Фрэнк. – Давайте пальцем ему в каюту и осветим семейную сценку.

– Я отсюда ухожу, – сказал Роджер. – Мне ваши шутки не нравятся. По-моему, всякие выкрутасы с автомобилями – это не смешно. По-моему, когда самолет ведет пьяный летчик – это не смешно. По-моему, пугать собак тоже не смешно.

– А вас тут никто не держит, – сказал Фрэнк. – Вы последнее время всем в печенку ввелись.

– Вот как?

– Конечно. Вы с Томом оба стали ханжами. Портите всякое веселье.

Исправились, видите ли. Раньше сами не дураки были повеселиться. А теперь никто не смей. Сознательные, видите ли, стали.

– Значит, это сознательность во мне заговорила, если я не хочу, чтоб подожгли причал Брауна?

– Конечно. Она и так может проявиться. А у вас ее хоть отбавляй. Слышал я, что вы там вытворяли в Калифорнии.

– Знаешь что, взял бы ты свой пистолет и пошел бы куда-нибудь в другое место развлекаться, – сказал Фрэнку Джонни Гуднер. – Нам было весело, пока ты не начал безобразничать.

– Значит, ты тоже такой, – сказал Фрэнк.

– А нельзя ли все-таки полегче? – предостерег его Роджер.

– Я здесь единственный, кто еще умеет веселиться, – сказал Фрэнк. – А вы все переростки, религиозные психи, лицемеры, благотворители...

– Капитан Фрэнк! – Руперт наклонился над бортом причала.

– Руперт мой единственный друг. – Фрэнк поднял голову. – Да, Руперт?

– Капитан Фрэнк, а как же с комиссаром?

– Мы подожжем его, Руперт, подожжем, дружок.

– Дай бог вам здоровья, капитан Фрэнк, – сказал Руперт. – Рому не хотите?

– Мне и так хорошо, – сказал ему Фрэнк. – Ну, ложись!

– Ложись! – скомандовал Руперт. – Лицом вниз!

Фрэнк выстрелил над бортом причала, и ракета вспыхнула на усыпанной гравием дорожке почти у самой веранды комиссарского дома и сгорела там. Негры на причале охнули.

– Вот дьявол! – сказал Руперт. – Самую малость не попали. Не повезло. Еще раз, капитан Фрэнк.

В кокпите яхты, стоявшей у них за кормой, загорелся фонарь, и ее хозяин снова вышел из каюты. На сей раз он явился в белой рубашке, белых парусиновых брюках и в спортивных туфлях. Волосы у него были гладко причесаны, а лицо красное, в белых пятнах. Ближе всех, спиной к нему, стоял на корме Джон, а за ним с мрачным видом сидел Роджер. Между обоими судами было фута три воды; яхтсмен вышел на палубу и уставил палец на Роджера.

– Паскуда, – сказал он. – Вонючая, грязная паскуда.

Роджер поднял голову и удивленно взглянул на него.

– Вы, наверно, имеете в виду меня? – крикнул ему Фрэнк. – Тогда свинья, а не паскуда.

Яхтсмен не обратил на него внимания и снова набросился на Роджера.

– Паскуда толстомордая. – Он почти задыхался. – Жулик. Шарлатан. Жулик подзаборный. Паршивый писатель и дерьмовый художник.

– Что это вы? Кому вы все это говорите? – Роджер встал.

– Тебе. Тебе, паскуда. Тебе, шарлатан. Тебе, трус. Ах ты, паскуда. Паскуда грязная.

– Вы сошли с ума, – спокойно сказал Роджер.

– Паскуда! – Яхтсмен кричал через три фута воды, отделявшие одно судно от другого, будто дразня зверей в современном зоопарке, где их отгораживают от зрителей не решетки, а рвы. – Жулик.

– Это он про меня, – радостно сказал Фрэнк. – Вы разве со мной не знакомы? Я же свинья.

– Нет, про него. – Яхтсмен показал пальцем на Роджера: – Жулик.

– Слушайте, – сказал ему Роджер. – Вы же это не для меня говорите. Вы сыплете руганью только затем, чтобы потом повторить в Нью-Йорке все, что вы мне тут наговорили.

**Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:**

[Перейти](#)